

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН

*Перевод с английского Виктора Топорова **

Творческий путь англо-американского поэта Уистена Хью Одена (1907—1973) продолжался свыше четырех десятилетий: от первой книжки, напечатанной в 1928 году на стеклографе его приятелем по Оксфорду, впоследствии известным поэтом Стивенем Спендером, до опубликованных за год до смерти «Послания крестнику» и цикла переводов из Гуннара Экелёфа. Есть нечто знаменательное в том, что под старость Оден обратился к этому шведскому лирику. Ведь он и сам отчасти скандинав. Его отец — врач, практиковавший в Йорке, происходил из Исландии. А любимой детской книгой Одена были саги в обработке для подростков.

Как сказано у Т. С. Элиота, старшего его современника и друга, «в моем начале — мой конец».

На Элиота юный Оден взирал почти как на божество, не отличаясь в этом смысле от многих своих сверстников. Три программных поэмы Элиота — «Бесплодная земля», «Полые люди», «Пепельная Среда» — поразили поколение 20-х годов. Оно нашло в них столь ему близкое чувство опустошенности современной жизни, перевернутой недавними катастрофами и встрясками — мировой войной, русской революцией. Былой порядок вещей распался, и этот поминутно о себе напоминающий факт, вызывая боль, страх, скепсис, неуверенность перед будущим, заставлял мучительно искать хоть какое-то оправдание мира, который выглядел обесценившимся и омертвевшим.

Оден разделял подобное умонастроение. Собственно, оно так и останется у него главенствующим, проявляя себя очень по-разному, но не меняясь по существу. Критику вечно удивлял диапазон его поэзии, то ироничной, то трагедийной, владеющей, кажется, всеми стилистическими возможностями и всеми формами от пародийного бурлеска до торжественной оды или эклоги. Удивляться, однако, следовало другому — устойчивости мироощущения, определившегося в ту пору духовного сдвига, сомнений и переоценок, на которую пришлась молодость Одена.

* УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН — Стихи (*Перевод с английского Виктора Топорова. Вступление А. Зверева*) // *Иностранная литература*, 1989, № 12, 146–156.

Некоммерческое электронное издание. «Im Werden Verlag», 2007.
<http://www.imwerden.de>

Эпоха Одена создавала богатую почву и для отчаяния, и для радикальной неудовлетворенности, и для постижения жизни как абсурда или, наоборот, как поля социальных экспериментов, уверенно начинаемых с чистой страницы, словно все предшествующее лишилось какой бы то ни было состоятельности и поучительности. До той или иной степени подобные идейные поветрия отозвались и у Одена, но ни одно из них не оказалось преобладающим. На время его захватывая, ни одно не становилось больше чем увлечением и сказывалось на поэзии Одена скорее внешне — меняющимися темами, новыми ракурсами изображения, — чем по существу.

Если необходимо с наивозможной краткостью охарактеризовать то главное, что изначально и неизменно определяет особый облик поэзии Одена, потребуется категория метафизики, взятая в исходном ее значении: умозрительная картина бытия, возникающая из размышления о его высших началах. Впрямую откликаясь на важнейшие события времени, Оден все-таки никогда не мог ни ограничиться, ни удовольствоваться сегодняшним, текущим. Ему необходим прорыв к существенному; конкретика важна лишь в той мере, насколько позволяет ощутить саму ситуацию человека, оказавшегося пленником трагической действительности нашего столетия.

Эта действительность воспринята Оденом как знак нового состояния мира, в котором сместились и деформировались исходные понятия логики, разумности, этической обязательности, непереступаемых нравственных границ. XX век, запечатленный у Одена россыпью выразительных своих примет, тем не менее интересен ему не своей хроникой, как она ни насыщена, а свидетельствами метафизического кризиса, который переживает людское сообщество: иногда — зримыми, но чаще зашифрованными и требующими сложных метафор, чтобы их поэтически осмыслить и воплотить.

О свойстве Одена обнаруживать глубокие истоки и дальние следствия коллизий, развертывающихся в гуще реального исторического времени, пишет Иосиф Бродский, многим Одену обязанный. Он говорит, что всегда распознавал у Одена «взгляд человека, который не в состоянии отвлечь нависшие над нами угрозы, однако не устает снова и снова указывать и на симптомы, и на саму болезнь. Но это вовсе не похоже на так называемый «социальный реализм», поскольку и сама болезнь — не социальная по своей природе; она экзистенциальна».

Со стороны событийной биография Одена многими нитями соединена с летописью времени и была типичной для его поколения. В юные годы — чувство травмированности

окружающим, почти инстинктивное желание бегства или, по меньшей мере, непричастности к происходящему рядом и день за днем. Оглядываясь на ту пору жизни, Оден вспоминал: «Ни революция в России, ни инфляция в Германии и Австрии, ни фашизм в Италии — все, что людям постарше внушало такие страхи или надежды, — не задело нас совершенно. До 1930 года я ни разу не заглянул в газеты». Потом — резкий поворот влево под воздействием атмосферы 30-х годов. Поездки в Испанию, где разгоралась гражданская война, в Китай, подвергшийся японской агрессии.

Одена называли едва ли не первым, говоря об английских писателях, ощупью, но упорно ищущих свой путь к революционным идеалам, и сравнивали с Брехтом. Но вскоре такие сравнения утратили под собой почву.

Советско-германский пакт 1939 года, начавшаяся неделя спустя вторая мировая война потрясли Одена, осознавшего эти события и как крушение собственных высоких иллюзий, в которых будущее представляло торжеством социальной справедливости, разума, свободы. Он уехал в США, сразу после войны приняв американское подданство. «Блюз для беженцев» — стихи, написанные еще в марте 1939 года, но, не зная даты, их можно воспринять как репортаж из Нью-Йорка, переполненного изгнанниками поневоле, тысячами и тысячами счастливых, которые спаслись от гитлеровских лагерей, от судьбы предназначенных к тотальному уничтожению жителей гетто, но и за океаном, в безопасности, ощутили себя не нужными решительно никому.

Страшная реальность того времени многое заставляла обдумать по-новому. С рабочего стола Одена исчезают томики Маркса, уступив место сочинениям Сёрена Кьеркегора, датского мыслителя, еще в XIX веке обосновавшего идею восхождения личности к Богу через неизбежную и целительную стадию отчаяния, без которого невозможно осознать религиозное значение собственного жизненного опыта, — коренную идею христианского экзистенциализма. О своей обретенной вере Оден возвестил в стихах, помеченных 1941 годом. На самом деле тогда был только сделан решающий выбор. Истинное обретение придет к концу жизни, впрочем так и не убедив ортодоксов в том, что оно свершилось.

Их подозрительность не должна удивлять. Пафосом поэзии Одена и в 50-е годы, и в 60-е оставалось искание истины о мире, направляемое давно знакомой его читателям иронией относительно любых истин, присваивающих себе значение абсолютов. И если у позднего Одена не встретить желчной иронии

над обанкротившимися понятиями о высшей разумности бытия, устремленного к прогрессу, то не встретить и умиротворенности. Преследовавшее его почти всю жизнь чувство надвигающегося вселенского краха — прочтите хотя бы «Гибель Рима» или печатавшееся у нас в антологиях американской поэзии стихотворение «1 сентября 1939» — в конце концов отступило. Однако сменилось оно не оптимизмом, хотя бы чисто философическим, отвлеченным от удручающего зрелища современности, а только вынужденным смирением перед дисгармонией мира, которую Оден все так же осознавал непреложным фактом. Считая, что выправить ее нельзя, он долго боролся с собой, прежде чем ее признать неизбежным условием существования. По сути, все творчество Одена и вело к подобному признанию, достигнутому как итог трудной духовной работы, следами которой заполнена его лирика.

Подобно Заболоцкому, который иногда очень ему созвучен, особенно в последних своих стихотворениях, Оден тоже не нашел «высокой соразмерности начал» — ни в природе, ни в человеке. Тем более — в социальной жизни, так для него и оставшейся, даже после религиозного перелома, каким-то непрерывающимся издевательством над естественными устремлениями личности к гуманному и справедливому жизнеустройству. Мало кто с такой резкостью, как Оден, называл ее царством фетишей и нелепостей, почитаемых нормой, владеньем тиранов, украсивших площади призывами к совершенству, обиталищем «слов, не верящих словам», однако таких, которым при всей откровенной их лживости дано решать судьбу.

Это образы из стихотворений, писавшихся в разные годы — и до войны, когда Оден был левым, и много позже, когда его поспешно и пристрастно именовали отступником. На самом деле переменялся не столько он сам, сколько время, обогатившееся до того жестоким опытом, что легкокрылый энтузиазм верующих в близкое социальное обновление становился явным анахронизмом. Для очутившихся в лабиринте утрачивали всякий смысл поиски кратчайшего пути напрямую, как бы ни ободряла их в таких усилиях наука, и самым непосредственным смыслом наполнялся «вопрос: есть выход или нет?» Как бы ни иронизировал Оден в стихотворении «Лабиринт», где «полуразумный человек» принужден каким-то образом осмыслить для себя вопросы, на которые не нашли ответа и лучшие умы, сам он — поэт таких вот вопросов, поставленных с нечастой для западного писателя прямоотой.

В этом отношении Оден ничуть не менялся, начиная с первых своих сборников. Сделать заурядным «жителем равнины», как

это сформулировано в стихах 1953 года, он бы не смог, даже прилагая максимум стараний. «Субстанция пологой пустоты», доминируя в духовном пейзаже, вызывала у Одена лишь жажду разрушения, а верней, преображенья магией искусства. Он не ожидал, чтобы подобное преображение сделалось весомым фактором в окружающей действительности, — это было бы, на его взгляд, еще фантастичнее, чем выигрыш «на randevу с Историей». Но, отвергая романтические грезы, Оден верил, что человеку по силам не просто обитать «на равнине», не просто прилаживаться к ее климату, а сохранить нравственное самостоянье, пусть это нередко требует неимоверного напряжения. Меру человеческих возможностей Оден не переоценивал. Но и не принижал.

Через многие его стихотворения, поэмы, пьесы проходит антитеза Тристана и Дон Жуана, понятых как два типа отношения к злу. Оден осмыслил обоих героев, конечно, очень по-своему, совсем не традиционно, если подразумевать огромную литературную предысторию этих образов, зато в высшей степени органично для того сознания, которое опознавало действительность и время как лабиринт. Легко заметить, с какой настойчивостью мотив зла вторгается у Одена даже в стихи, тематически вроде бы не провоцирующие подобные размышления, уже не говоря, например, о «Германе Мелвилле», где к ним обязывает само присутствие автора «Моби Дика». И почти неизменно мысль Одена пульсирует между двумя точками, обозначенными при помощи персонажей, которые восходят к средневековью: Тристан — само терпенье, воплощенная пассивность, оцепенелый страх и Дон Жуан — воля к противодействию, сопротивляющаяся энергия, непримиренность.

Вторая позиция, кажется, должна была привлекать Одена намного больше. Однако он отверг и ее, из опыта времени усвоив тот слишком часто проверенный урок, что подобная энергия оборачивается насилием, которое не испытывает потребности в социальных обоснованиях, а тем более в моральном критерии, — не менее самоубийственным, чем безволие. Действительность, как ее постигает Оден, подорвала фундамент, на котором держался и тристановский эстетизм, и та этика, которую несет в себе деятельный, целеустремленный Дон Жуан. И Кьеркегор оказался самым близким Оденому философом как раз оттого, что отдал предпочтение религиозному началу перед эстетическим и этическим, но не сталкивая их прямолинейно и не противопоставляя, а выстраивая последовательность восхождения от низших ступеней духовного развития к высшим.

Оден одолевал тот же путь, в полной мере сознавая, насколько он труден, и не испытывая уверенности, что сумеет

пройти его до конца. Кому-то важен только финал, но, наверное, поучительнее и, уж во всяком случае, интереснее пройти вместе с Оденем шаг за шагом всю эту дорогу. Такое странствие даст очень многое: и понимание эпохи, и понимание крупной личности во всех сочленениях противоборствующих верований, из которых состоит ее духовное развитие.

Что же касается реального финала, Оден его предсказал с точностью, заставляющей лишней раз увериться в ясновидении, этой загадочной особенности поэтического восприятия жизни. «Должно быть, я умру в каком-нибудь отеле, доставив массу хлопот дирекции». Это из письма 1947 года. Двадцать шесть лет спустя все так и вышло: после выступления на фестивале поэзии в Вене, вернувшись в гостиницу, Оден почувствовал себя плохо и вызванный к утру врач констатировал смерть. Одена похоронили в Кирштетене, австрийском городке, где он по преимуществу жил все последние годы, отлучаясь на зиму в Оксфорд, почтивший былого своего питомца кафедрой, к которой он, впрочем, остался вполне равнодушен.

А. ЗВЕРЕВ

Блюз у Римской стены

Службу солдатскую здесь я несу.
В тунике вши и соплицы в носу.

С неба на голову сыплется град.
Службе солдатской я вовсе не рад.

Вечно здесь сырость, тоска и туман.
Спишь в одиночку не сыт и не пьян.

Девка осталась в родной стороне.
Может, тоскует уже не по мне.

Глуп мой напарник, он верит в Христа.
Все на земле, говорит, суета.

Свадьбу сыграем, сказала она.
Нет уж — и женка нужна, и мошна.

Выключот глаз мне парфянской стрелой —
Сразу же в Небо уставлю второй.

1937

Прозаик

Талант поэта словно вицмундир.
Любому барду воздают по праву.
Как молния поэт ударит в мир,
Погибнет юным и стяжает славу;

А то — пойдет в отшельники гусар...
Мучительно и медленно прозаик
Мальчишество в себе (бесплодный дар),
Спесь и экстравагантность выгрызает.

Чтобы любую малость воплотить,
Сам должен стать он воплощеньем скуки:
Претерпевать любовь, а не любить,

Вникать в чужие склоки или муки, —
И все, чем жизнь нелепа и страшна,
Познать в себе — и ощутить сполна.

1938

Эпитафия тирану

Призывами к совершенству он изукрасил площади.
Его сочинения были понятны и дураку,
А он повидал дураков на своем веку
И постоянно перетасовывал поэтому вооруженные силы.
Когда он смеялся, сенаторы ржали, как лошади,
А когда он плакал, детские трупики по улицам проносили.

1939

Блюз для беженцев

В городе этом десяток, считай, миллионов —
На чердаках, в бардаках и при свете ночных лампионов, —
Но нет приюта для нас, дорогая, здесь нету приюта для нас.

Было отечество, а ничего не осталось.
В атлас взгляни — поищи, где там было и как называлось.
Мы не вернемся туда, дорогая, нельзя нам вернуться туда.

Дерево помню на кладбище в нашей деревне.
Каждой весной одевается зеленью ствол его древний.
А паспорта, дорогая, просрочены, да, никуда паспорта.

Консул глядел на нас, как на восставших из гроба:
«Без паспортов вы мертвы, для отчизны вы умерли оба!»
А мы живем, дорогая, мы все еще как-то живем.

Я обратился в комиссию и услышал, сидя в кресле:
«Если бы вы через год, а сейчас понапрасну не лезли»...
Ну а сейчас, дорогая, где жить нам, на что жить сейчас?

Был я на митинге, где говорили: нельзя им
К нашим тянуться — и так-то плохим — урожаям.
Это о нас говорили они, дорогая, они говорили о нас.

Гром прокатился по небу старинным проклятьем.
Гитлер восстал над Европой и крикнул: «Пора помирать им!»
«Им», дорогая, в устах его значило — нам, это значило — нам.

Здесь пуделей одевают зимою в жакеты,
Кошек пускают к огню и дают молоко и котлеты.
А, дорогая, немецких евреев не терпят, не терпят они.

В порт я пришел и на рыбок взглянул у причала.
Плавать вольно им, резвиться, как будто войны не бывало.
Недалеко, дорогая, от берега — только от нас далеко.

В лес я вошел и заслушался пением птичек.
Нет у них вечных оттяжек, уверток, крючков и кавычек.
Не человеки они, дорогая, нет, не человеки они.

Сниться мне начало тыщэтажное зданье —
Тысяч дверей приглашенье и тысячи окон сиянье.
Но не для нас, дорогая, те двери — любая из них не про нас.

Вышел на улицу — вьюга, колонны, знамена.
Тыща солдат маршируют целеустремленно.
Это за нами они, дорогая, — за мной и тобою — пришли.

1939

Герман Мелвилл

На склоне лет он взял курс на кротость,
Причалил к супружеской суше,
Заякорился за женину руку,
Плавал каждое утро в контору,
Где заколдованные архипелаги расплывались на бумаге.

В мире было Добро — и это открытие
Брезжило перед ним в порастаявшем тумане страха,
Бури, однако, бушевали и после вышеозначенного срока,
Они гнали его за мыс Горн осязаемого успеха,
Тщетно манивший потерпеть кораблекрушение именно здесь.

Оглушенный грохотом грома, ослепленный сполохами света,
Фанатик, искавший (как ищут фантастическое сокровище)
Омерзительное чудовище, всеширотный фантом;
Ненависть за ненависть, иступление за оскотление,
Необъяснимое выживание в последнем прибое гибели;
Ложь не сулила прибыли, а правда была проста, как правда.

Зло некрасиво и непременно человекообразно:
Спит с нами в постели и ест за нашим столом,
А к Добру нас каждый раз что есть силы тянут за руку, —
Даже в конторе, где тяжким грузом починут грехи.
Добро бесхитростно и почти совершенно —
И заикается, чтобы мы не стеснялись с ним знакомиться;
И каждый раз, когда встречаются Добро и Зло, происходит вот что:
Зло беспомощно, как нетерпеливый любовник, —
И начинает свару, и преуспевает в скандале,
И мы видим, как, не таясь, взаимоуничтожаются Добро и Зло.

Ибо теперь он бодрствовал и осознавал:
Спасение поспекает вовремя только в сновидении,
Но и в ночном кошмаре несем потери:
Само воздаяние как знак внимания и любви,
Ибо небесные бури порождены небесным отцом,
А на груди у отца он был несом до этих пор —

И лишь ныне отпущен, опущен наземь.
На капитанском мостике деревянного балкончика
Стоял он на вахте — и звезды, как в детстве, пели:
«Все суета сует», — но теперь это означало нечто другое.
Ибо слова опустились наземь, как горные туманы, —
Натаниэл не возмог, паче любовь его была своекорыстна, —
Но вскричал в первый раз в унижении и восторге:
«Как буханку хлеба, раскромсали небо. Мы ломти божьи».

Позже он сумел написать и об этом тоже.

1939

Лабиринт

«Антропос аптерос» — спешащий
Бог весть куда, прямоходящий,
Полуразумный человек —
Веками продолжает бег

По лабиринту. Но в трехсотый
Раз у того же поворота
Тропы вдоль рощи тех же лип
Он понимает, как он влип.

Не лабиринт ли эта штука?
И все ж, как учит нас Наука,
Найди вопрос — найдешь ответ.
Вопрос: есть выход или нет?

Как возгласило Богословье,
Быть может выход лишь любовью
Того, кто, лабиринт создав,
В конечном счете в чем-то прав.

Коль так, то что-то здесь неладно,
Ведь нету нити Ариадны.
На чувства полагаясь, в пять
Сторон пойдешь — и всюду вспять.

По Математике кротчайшей,
Путь напрямую есть кратчайший,
Но Исторический Урок
Гласит: кратчайший путь — не впрок.

Искусство, ведь оно свободно,
Велит идти куда угодно,
Лишь только б душу ублажить. —
Но не довольно ли кружить?

К тому же эти рассужденья
Старинного происхожденья,
Тогда как Современный Взгляд
Вперен вовнутрь, а не назад.

Да и подсказка наготове:
Мы — созидатели условий,
И, значит, лабиринт возрос,
Из наших выделясь желез.

Центр (лабиринта, мирозданья) —
В моем греховном подсознанье.
Не видишь центра — не беда:
Ты в нем, а он в тебе всегда.

В хотенье — гибель; нехотенье —
Спасительное поведение;
Лишь всхлипывая, слышишь всхлип;
Я влип лишь в мысль о том, что влип.

А коль хотенье неизбежно,
То этот опыт негативный
Имеет позитивный смысл, —
Он в том, что вкус теорий кисл,

А практика неэфемерна.
Я здесь, мне скверно, это верно,
Не вижу выхода вокруг,
И стены выше всех наук!

«Антропос аптерос», — в какую
Мне нынче сторону, — взыскую,
Взглянул на птичку в небесах,
Лишенную сомнений сих.

1940

* * *

Грядущее крадется к нам, как тать.
Мы собираем слухи по крупице —
О чем мечтает королева-мать
Или к кормилу рвущийся тупица.

На прошлое великие мужи
Косятся, чем темней, тем беззаботней, —
Там те же казни, те же миражи
И та же потасовка в подворотне.

Мы в страхе опираемся на то,
Что кончилось; кончаясь, бьемся в стену,
Дырявую подчас, как решето, —

Что пропускает жирную Алису
В страну чудес, за ветхую кулису, —
До слез мало то место во вселенной.

1940

Гибель Рима

О волнорезы бьется с воем
И тяжким грохотом вода.
В разгаре брошена страда.
В пещерах гор — приют изгоям.

Покрой парадных тог — с ума
Сойти; агенты тайной службы
Приходят под покровом дружбы
В патриархальные дома.

Не зарясь на соборных шлюшек,
Берут любую, кто дает,
И славит евнух-стихоплет
Воображаемых подружек.

Головорожденный Катон
Пытает древние вопросы,
Но быкомордые матросы
Удавятся за выпивон.

Огромно Цезарево ложе.
КОГДА ЖЕ АВГУСТУ КОНЕЦ? —
Выводит молодой писец
Стилом казенным с личной дрожью.

Авгуры обожают птиц,
А те на яйцах восседают
И, не гадая, наблюдают
Распад империй, крах столиц.

И, босоноги, безобразны,
По золотым заветным мхам
Прут отовсюду орды к нам —
Быстры, безгласны, безотказны.

1947

Леса

Вначале чащи были черт-те чем
(Пьеро ди Козимо писал их часто) —
Медведи, львы, нагие толпы тел
И вепри с человеческою пастью
Друг дружку пожирали в глубине,
Бежав неопалимой купины.

Местами став охотничьих забав
Эсквайров из соседних деревенек,
Всё шепчутся, тех игрищ не забыв,
И рады бы спалить весь деревянник,
Но Трон и Церковь, дав им статус рощ,
Мешают взбунтоваться дебрям чащ.

Пусть потаскух уводят в номера,
Где спросят подороже, но немного, —
А здешний дух вовек не умирал, —
И, пав во мху, бывшая недотрога
Клянёт не опрометчивость свою,
А сводника — лесного соловья.

Вам эти птички разве что видны,
А пенье заглушает перебранка
На пикничке. Но как заземлено,
Как второсортно протяженьё Ганга
В сравнении с протяжной жизнью в чащах —
Вне духов, вне божеств, вне тещ и мачех.

Здесь древности могильный ареал.
Здесь человек принижен, но не жалок,
Здесь алчность первородную сдержал,
И здесь душою отдохнет филолог —
Среди теней древесности густой,
Не знавших дней словесности пустой.

Здесь перевоспитание ушей:
Морзянка Пана выше расшифровки,
Кукушка по-крестьянски колгошит,
А дикие голубки-полукровки
Туземные акценты привнесли
В уклад цивилизованной семьи.

Здесь гибель не безгласна никогда.
Осенний плод над палою листвою
Умеет объявить свою беду,
А человек, противясь естеству — и
Потерями и старостью объят, —
Звук счастья ловит в вечном шуме вод.

Хороший лес не хуже алтаря:
Ты позабыл, что презираешь ближних.
С самим собой ты бьешься на пари,
Что человек — превыше слов облыжных.
Хороший лес, особенно в глуши,
Двойник народа и его души.

Но рощица, сожженная в золу,
Но гордый дуб с насквозь прогнившей грудью
Гласят, что нашим миром правит зло,
Уродство верх берет над плодородьем.
Хитра культура наша, как лиса,
А все ж не краше, чем ее леса.

1952

Равнины

Я запросто себя воображу
На старость лет унылым попрошайкой
В питейном заведении в порту.
Я запросто представлю, как опять,
Подростком став, в углу кропаю вирши,
Чем непроизносимей, тем длинней.
Лишь одного не в силах допустить:
Не дай мне бог стать жителем равнины.

Чудовищно представить эту гладь —
Как будто дождь сровнял с землею горы, —
Лишь каменные фаллосы церквей
Ждут разрушенья, словно пробужденья.
Субстанция пологой пустоты,
Слепая полость в глиняном кувшине,
И гравий — как гранит или асфальт —
Бесполостью калечащий пространство.

А как расти, где все кругом равно?
В предгорьях веришь в горы; в самом нищем
Ущелье — по течению реки
Спуститься можно в поисках сокровищ.
Здесь ничего подобного: орел
И решка — вот для гения весь выбор.
Сдуй фермы с мест — как тучи поплывут.
Того и жди сюда чужого флота!

Любовь? Не в здешнем климате. Амур,
Овидием описанный проказник,
В раю аркадском будь хоть трижды слеп,
Здесь от жары и холода прозреет.
Равнинным несгибаемых матрон
Не распатронить, если не решила
Умножить население страны
Соитьем в темноте, но не вслепую.

Но и чем климат круче здешний Кесарь.
Он аки коршун кружит наверху.
Где горы, там порой сорвется мытарь,
Где лес, порой подстрелят лесника, —
И не ударит молния в смутьяна.
А на равнине стражи тут как тут:
Придут, распнут — и прочь... Но можно выпить.
Поколотить жену. И помолиться.

Из захолустья родом (с островков,
Где жульничество пришлых канонеров
Толковый парень мигом в толк возьмет),
На randevу с историей выходят
Герои на равнину. Полумесяц
Побит крестом. У мельниц ветряных
Крыла недосчитался император,
А самозванец рухнул в поле ржи.

Будь жителем равнины я — питал бы
Глухую злобу ко всему вокруг, —
От хижин до дворцов, — и к живописцам,
Апостола малюющим с меня,
И к пастырям, пред засухой бессильным.
Будь пахарем я, что б меня влекло,
Как не картина истребленья градов
И мраморов, потопленных рекой?

Лишь в страшном сне — точней, в двух страшных снах,
Я вечно обитаю на равнине:
В одном, гоним гигантским пауком,
Бегу и знаю — он меня догонит;
В другом, с дороги сбившись, под луной
Стою и не отбрасываю тени —
Тарквинием (и столь же одинок
И полн посткоитальной печалью).

Что означает, правда, что страшусь
 Себя, а не равнин. Ведь я не против
(Как все) повиноваться и стрелять —
 И обитать в пещере с черным ходом.
Оно бы славно... Хоть и не могу
 Поэзией наполнить эти доли,
Да дело-то, понятно мне, не в них,
 Да и не в ней... Поэзия — другое.

1953

Слова

Сужденья образуют мирозданье,
В котором все послушно их азам.
Лгать может вестник, но не сообщенье.
У слов нет слов, не верящих словам.

Но правила есть в словосочетанье:
Держитесь за сказуемое там,
Где вкривь и вкось пошло соподчиненье,
Внимательными будьте к временам, —

Правдоподобья требуют и сказки.
Но если правду хочешь прошептать
И срифмовать живое без описки,

Тогда не ты — слова пойдут решать
Твою судьбу: так на потешной пляске
Вольно мужланам в рыцарей играть.

1956

Об авторах

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН (WYSTAN HUGH AUDEN; 1907—1973) — англо-американский поэт, драматург, публицист, критик. С 1939 года жил в США. Лауреат Пулицеровской и других литературных премий. Автор многих поэтических сборников, среди которых «Танец смерти» (*“The Dance of Death”*, 1933), «Гляди, незнакомец!» (*“Look, Stranger!”*, 1936), «Испания» (*“Spain”*, 1937), «Век тревоги» (*“The Age of Anxiety”*, 1947), «Щит Ахилла» (*“The Shield of Achilles”*, 1955), «Избранные стихи» (*“Collected Shorter Poems”*, 1968).

Публикуемые переводы сделаны по «Собранию стихотворений» (*“Collected Poems”*. New York, Random House, 1975).

ТОПОРОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ (род. в 1946 г.) — советский поэт-переводчик, критик. Из англо-американской поэзии переводил Дж. Донна, Дж. Г. Байрона, Г. Мелвилла, Оскара Уайльда, Р. Киплинга и др.